



ПЕРВОЕ ВОСПОМИНАНИЕ О КУРПИНКЕ СВЯЗАНО СО СМЕРТЬЮ ДЕДУШКИ

Дедушка умер в Курпинке, в сосняке, где земля была сухой и мягкой, как хлеб, и на много метров вглубь перемешанной с сосновыми иглами, где рыли погребя, и вода никогда не просачивалась в них, где всегда стоял вечер от густых зарослей акаций и вечно пахло смолой, источаемой соснами. Последнее время дедушка не спал лежа — постоянный «шум воды» в голове усиливался, когда он ложился.

Он научился спать сидя, прислонившись головой к стене, и часто засыпал так и днем. Закрывал глаза — медленно, многими складками опускались его веки, и опустились в последний раз, когда он сидел под сосной за столом, который сам сделал. Он медленно, боком упал со скамьи на сухую и мягкую землю, в шум ревущей воды. Опустился в воду, и она уже не шумела. Утонул в смерти.

Когда дедушка заболел и третий день не пошел на пашку, бабушка отвезла нас с моей двоюродной сестрой Мариной на лошади в совхоз, к дяде Василию, и вернулась к дедушке, в Курпинку.

Она увидела его под сосной, издалека, спрыгивая с трясущейся телеги, удивилась, почему у дедушки голова в земле, и завывала, когда поняла, что это муравьи начали погребать его, созидаю у головы усопшего свой дом. Пасека с трех концов ответила ей воем, потому что все три цепные собаки уже кусали свои языки от жажды и ждали хозяина или смерти — не принимали еды и питья из других рук.

В день похорон нам велели не выходить из спальни дяди Василия и тети Веры, не играть и говорить шепотом. И мы нашли под кроватью зеленые помидоры и уже не слышали, как стонут в зале и говорит монашка, как не слушали никогда гула пчел и тиканья будильника. Иногда дверь открывалась — и заходили старухи в черных платках, целовали нас с Мариной прокисшими губами, спрашивали, жалко ли нам дедушку и когда приедет моя «мамка». Старухи уходили, и на паласе оставался нафталин от их траурных платьев, причитания приближались, и голос монахини черным крылом задевал дверь спальни.

Мама тоже приехала в день похорон. Я увидела в окно, через толстые жилы ливня, как она выскочила из чужой легковой машины и, вся в черном, не надевая светлого плаща, а держа его, сразу же прогнувшийся, над головой, побежала к калитке, и каблуки ее на каждом шагу увязали в земле, как в воде тонули, а чулки ее быстро темнели.

И я побежала ей навстречу, а тетя Вера поймала меня поперек живота, обняла лживо, потому что как мама, но не мама, и не пустила.

Мама не вошла в дом, а во дворе загудел и сразу поехал КамАЗ, и там на лавках под брезентом вокруг дедушки сидели все — и бабушка, и Марина, и мама, — а меня увела на пропахшую газом кухню тетя. И я кричала до тех пор, пока не вернулись все, кроме дедушки. В эти три часа я оплакала свою свободу встречать, обнимать, видеть, хоронить, скорбеть и не слышала шума падающей, разбивающейся, бегущей воды.

Я не помню лица моей тети до того момента, как она, сама чуть не плача, стала пытаться утешить меня, разрываясь между плитой и террасой, где старухи-помощницы чистили и резали овощи, усыпая очистками свои фартуки и опухшие ноги. В эти три часа я запомнила тетю — молодую, по локти мокрорукую. Ее короткую стрижку, розовые ноздри, дрожащие как лепестки, и карие коровьи глаза, и мелкие зубы, и тень на шее от выступающего подбородка, и цепочку, звенья которой блестели, как капельки пота, сбегая за воротничок, и маленькое золотое крыло креста, вылезшее между двумя пуговицами коричневой блузки. Тетя Вера давала мне погрызть морковку и помешать салат, и я возненавидела ее за эти три часа.



МАМА ПРИЕЗЖАЛА И ПРИВОЗИЛА ПОДАРКИ

Мама приезжала и привозила подарки — всё мне и Марине одинаковое, новое, с чужим запахом Москвы и магазинов.

То, что дарила мама, Марина и бабушка называли «гостинчиками».

Маму привозил брат, дядя Василий, папа Марины. Он подбрасывал ее под потолок — а меня мама не давала — и катал нас в кабине КамАЗа, где было грубо и уютно, и Марина сигналила, а теленок в сосняке трубил в ответ.

У мамы были: косметика, чемодан пропахшей духами одежды, этюдник и краски. По утрам мы просыпались от нежных и едких запахов и видели маму за столом, потому что дверная занавеска была уже отдернута. Мамино лицо светилось от не успевшего впитаться крема, и зеркало в ее руках тоже светилось, отражая солнце в окне. Мама писала акварелью пейзажи и каждый палец вытирала платком. Она развешивала пейзажи по стенам, и на листах ватмана видны были потеки. Мамин приезд означал: скоро она увезет меня в Москву.

Мама водила нас гулять далеко. Она клала в корзину перочинный нож, фляжку, завернутые в газету хлеб, вкрутую сваренные яйца и крупную, как бисер, соль в спичечном коробке. Мы звали Тузика и отправлялись в Сурковский лог. Долго шли по темному лесу, хныкали, то и дело снимали паутинки с лица, мама обирала с нас колючие липучки и репы. Мы садились на все склизкие трухлявые бревна, чесались, просили есть и пить.

Но наконец лес светлел — берез становилось все больше, мы ступали по истлевшим веткам, и они, как мел, крошились под нашими ногами. Оказывалось, мы на горе, и, чтобы не бежать, приходилось хвататься за мягко мерцающие стволы.

Ветер трепал на березах тонкую зашелушившуюся кожицу, которая легко сдирается, и в воздухе стояло плескание тончайших крыльев.

Желанно и неожиданно расступались березы, и мы видели Лог. Это была зеленая ладонь — от пяти холмов уходили в леса и совхозные сады пять дорог, как пять пальцев, три ручья линиями жизни, ума и сердца истекали из одного родника, скрытого в заболоченной ложбине. Пастух гнал стадо по линии судьбы, и мы видели, как медовые коровы покачиваются на тонких ногах.

Мы сбегали в Лог как бы с запястья, и мама сходила следом, трогая березы и качая корзинкой. То тенью было покрыто ее лицо, то, будто тень уносил ветер, светом невозможным сияло.

Когда мы спускались в Лог, оказывалось, что стадо далеко, а сверху виделось, что рядом, и едва слышались

хлопанье кнута и коровьи мыки, как стоны. Мы шли к роднику по линии жизни. Вода текла прямо по лугу, и травинки извивались в ней как живые, ползли на месте, всхлипывали под ногой и приподнимались, уничтожая след. Тузик бежал по ручью, опустив в него язык, и язык плыл по траве. Мама раздвигала острую осоку, и под вымытыми из земли корнями лозины, меж двух камней мы видели глинистое донце, покрытое серой дрожащей водой. Рыжий и крупный, как труха, песок возле родника был изрыт — мама показывала нам следы лисы и кабана. Древесный сор — веточки, частицы коры и отжившие листья — падал на родник и, поворачившись в нем, выплывал в устье одного из ручьев; задерживался там и бился, зацепившись на порогах, образованных корнями, и тихо отходил, и уходил по масляной траве, по мягкой воде.

Грибы жили на крутых склонах холмов, поросших ельником и осинами. Пологие склоны шевелились цветами, теплыми от солнца. Мы с Мариной ложились на вершине холма и, закрыв лица руками, катились вниз. Перед глазами красная мгла сменяла зеленую. Что-то кололо, хлестало, ласкало, липло — и оставалось выше. Казалось, что катишься быстро, долго и останавливаешься вдруг не внизу, а на каком-то бугре, всегда лицом вниз. Переворачиваешься на спину, думая, что покатишься дальше, и удивленно понимаешь, что лежишь на ровной земле, у самого подножия холма, а небо поворачивается над тобой и никак не может повернуться. А с холма налетело влажное дыхание, теплый запах псины, и Тузик,

наступая мне на руки, встал надо мной, и с мольбой и тревогой уставил на меня каре-розовые глаза из-под черных ресниц, и, как тряпочку, уронил мне на лицо язык. Я завизжала и толкнула его в скользкий, как масленок, нос, вскочила и увидела, как медленно скатывается с другого холма Марина и кузнечики сухими брызгами прыскают вокруг нее.

На одном холме росли «корольки». Мы рвали красные яблочки с желтой начинкой и ели их, вяжущие рот, просто от жадности, потому что они были маленькие — на три укуса. Марина сказала: «Эти яблочки колдовские. Кто съест — станет царицей. А царица — это самая красивая во всем, во всем... на всей земле самая». И мы ели, ели яблочки и с холма кидали огрызки. Мамин грибной ножичек сверкал в ельнике, будто там прыгал большой серебряный кузнечик.

Так хотелось благодарить кого-то, и, не знаящие молитв, мы пели песню «Широка страна моя родная...», а пастух гнал уже стадо по одной из дорог и что-то кричал, беззвучно хлопая кнутом, но не слышали мы и не знали — что.

Однажды мама увела меня так далеко, что ноги болели, и я садилась и садилась на обочину. Мама взяла меня на руки и несла, и я видела, что сзади дорога, и деревья, и поле, а потом отвернулась и, когда снова взглянула назад, — вместо дороги стала Белая Земля. В ней были белые камни, а вдали — дома. Но набежала тень, и Белой Земли не стало — опять только дорога.

Мама смутно помнила, что было такое — каким-то летом ходила она со мной к «Победе», но что было у меня там видение Белой Земли — не знала. А Марина поверила моему рассказу, и мы несколько лет подряд просили и просили маму отвести нас к Белой Земле, и Белая Земля снилась Марине.

Мама приезжала, и это значило, что скоро мы с ней уедем в город.

Мне разрешили сидеть, свесив ноги с телеги, и очень скоро, уже у поворота на Малинник, мне натерло поджилки. Но я все равно сидела по-прежнему, и грязь с колеса прыгала мне на колготки.

Дом был моим Домом по незаконному праву чужеземки. Каждую осень я уезжала оттуда навсегда.

Дома давно уже не видно, и не видно сосняка, скрывшего Дом, и не видно Курпинского Леса, скрывшего сосняк. Вот не видно и Малинника, скрывшего Лес. Уползают от меня поля, отшатываются деревья, на мгновение мелькнул один из холмов Лога, и что-то нехорошее случилось с моим сердцем — тоска сжала его.